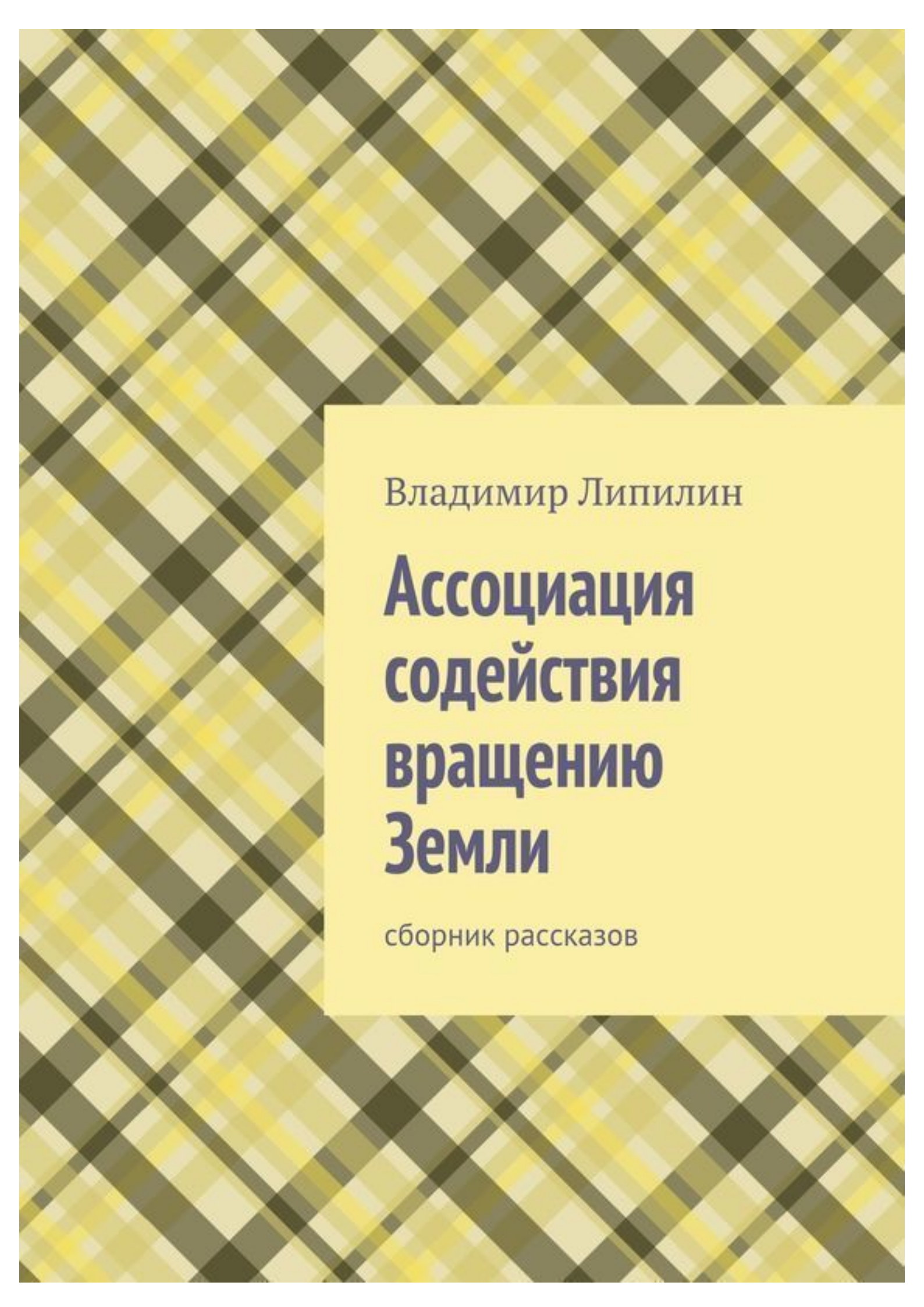




Владимир Липилин

**Ассоциация  
содействия  
вращению  
Земли**

сборник рассказов

Владимир Липилин

**Ассоциация содействия  
вращению Земли.  
Сборник рассказов**

«Издательские решения»

**Липилин В.**

Ассоциация содействия вращению Земли. Сборник  
рассказов / В. Липилин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-747511-6

Рассказы о людях, для которых сама возможность жизни — дивный подарок. В книге много непоправимой любви, чудаковатостей, дури и куража, сожалений и грусти — всего того, что, как правило, бок о бок ходит с настоящей, невыдуманной жизнью.

ISBN 978-5-44-747511-6

© Липилин В.  
© Издательские решения

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Край Земли                        | 6  |
| Кит свежий, морской               | 10 |
| Гномы деда Михайло                | 18 |
| Большое сердце вечной мерзлоты    | 24 |
| Давай, Джон!                      | 31 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 38 |

# **Ассоциация содействия вращению Земли Сборник рассказов**

**Владимир Липилин**

© Владимир Липилин, 2017

ISBN 978-5-4474-7511-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Край Земли

*Александру Шереметьеву*

Той осенью много было тепла в груди. То ли от коньяка, который пили мы в тупике. То ли оттого, что проносились мимо этого тупика поезда, а в них – люди. И так хотелось любить их, думать обо всех нежно. Потому что вот осень такая нарядная, поют в рябинах дрозды, и потому что все мы когда-нибудь умрем.

Той осенью я дурачился. Брал с собою утром будильник, заводил его минут на пятнадцать вперед. Затем входил в трамвай, и присаживался рядом с какой-нибудь девушкой.

Будильник мой был массивный, ещё тот, советский, с колокольчиком наверху. И звонил он – мёртвого можно было поднять. Я вытаскивал его из кармана, хмыкал и спрашивал у девушки:

– Чёрт, а сколько на ваших?

Она отвечала. Я подводил стрелки и говорил:

– Ну и как мне теперь жить без вас!?

Когда я сказал это тебе, ты пожала плечами и ответила:

– Мы можем никогда не расставаться.

Луч солнца, разведённый красками осенней листвы, золотил две озорные твои косы.

И что это был за день! Какое сумасшедше-синее небо висело над городом, и как на фоне этого неба били по глазам костры кленов!

Мы сидели в кафе на набережной, и я все время выспрашивал у тебя что-то. А ты, глядя на Волгу и подставляя лицо ветру, не интересовалась у меня ничем. Казалось, разговор со мной вовсе был не нужен тебе. Но отчего тогда не уходила ты, сославшись на какие-нибудь дела? Отчего беспрерывно пила кофе и, будто на дежурном интервью, отвечала на мои вопросы? Я знал, что у такой, как ты, должно быть много воздыхателей. Денежных, справных, как породистые жеребцы. Этаких хозяев жизни. Но зачем целый день сидела ты со мной? Может, убивала какую-то обиду?

В огромное красное солнце летела чайка. Я думал, что вот вечер, сейчас ты встанешь, скажешь чего-нибудь и уйдешь. Но так хотелось удержать тебя. Какой-нибудь нелепостью, глупостью. И уже злясь, что ничего из этого не выйдет, сказал:

– А поехали в одну деревню. Там есть дом с печкой, а из окна видно, как солнце заходит в поля.

Я знал наверняка, что ты откажешься. Но ты как будто играла в неведомую мне игру и грустно улыбнулась:

– О кей.

Мы заехали ко мне, захватили рюкзак, позакрывали форточки. А потом, купив еды, отправились на вокзал.

Фонари были как будто в дыму. Запах листьев и вокзальных пирожков витал всюду. Мы глядели на уходившие поезда с моста и курили.

– Когда-то я думала, что у каждого человека на этой земле есть его собственная любовь. Которая ищет его с рождения, – сказала ты, разглядывая в полутьме свои красивые ногти. – Но мир все-таки страшно велик, и искать друг друга эти сердца могут всю жизнь. Очень похожа на это и какая-то своя, никому не понятная жизнь поездов. Они часто ходят навстречу друг другу. И кричат, кричат, как журавли. Но как только встречаются, проносятся мимо – тотчас же понимают – не то, опять не то. И снова идут куда-то, ищут чего-то.

Уже и гасли огни в домах, мимо которых мы ехали, и синим светились окна, где смотрели телевизор. А в поезде пахло уютом и жаром несло от чайника, который возле купе проводниц визжал тоненько, как монашенка.

Я сидел на нижней полке и смотрел на тебя. Ты сняла тёмные очки, щелкнула дужками и протерла, как ребенок, кулачками глаза. И так мне захотелось поцеловать их, сгрести тебя в охапку.

– Давай спать, – сказала ты.

Я допил свой чай. Стал разглядывать гравюру города Смоленска на подстаканнике. Внизу мягко погрохатывали колёса.

– Давай спать, – сказала ты, и сняла через голову свитер.

Я обомлел. Под вязаным белым одеянием у тебя ничего не было. И поэтому колыхнулись наполненные, готовые вот-вот расплескаться, груди. Затем ты освободила ноги от джинсов и залезла под одеяло.

Я бродил всю ночь. Выходил за чаем, а потом сидел и смотрел на проносившиеся фонарями и одиноко горевшими окошками деревни. И так хотелось запомнить все это, куда-то записать. И было страшно от мысли, что можешь заснуть, а утром встанешь – и не будет уже тех ощущений, тех нот в груди. Никогда. Не о таком ли состоянии сказал когда-то Пушкин: «Вся жизнь – одна ли, две ли ночи?»

Утром (было ещё запотевшим окно) я тихо разбудил тебя. Ты что-то спросила ленивым, ещё не набравшим холодной отстраненности, голосом. Быстро, как солдат, надела свитер, и пошла умываться.

Затем была станция. Наш поезд толкнулся и застыл у бабулек с яблоками. Мы миновали длинные, точно склады, деревянные ангары, прошли висячим мостом через речку и вышли к осеннему пустому полю. Было ещё темно и гулко. Со станции долго доносился до нас голос женщины, объявляющей поезда.

Ты куталась в воротник своей розовой куртки и прятала руки в рукава. У высветленного стынью горизонта игрались-миловались черные вОроны.

А потом мы порвали в углах паутину, затопили печь, и я принес из колодца воды.

Сколько было счастья в тот день! Шипели дрова в печке, постепенно теплом наполнялась изба и кипела, бурлила за шестком, варившаяся шурпа.

Мы пили чай в облетевшем саду. И казалось: я чувствую, как крутится, летит куда-то Земля. С этой осенью, безлюдной этой деревней и нами, прихлёбывающими из блюдцев с твердым, еще оставшимся от бабки сахаром, чай.

Весь день ты вытаскивала из шифоньера старые вещи. Крутилась возле тронутого трещинами трюмо. Примеряла цветастые девичьи, бог весть как угодившие в тот гардероб, сарафаны, пальто с капюшоном.

Особенно хороша была ты в этом пальто, когда надевала его ночью на голое тело, и выходила на крыльцо покурить. Курить можно было и дома, но ты всё равно выходила. А потом как будто что-то передумав, свалив какой-то неведомый груз с плеч, приносила в дом запах стыни и близкого снега. Скидывала с себя одеяние и жалась ко мне, лънула губами.

Ты почти не говорила со мной, а только кричала, как птица подстреленная, билась в ладонях. Я представлял почему-то сверху наш дом, эти крики, а дальше — тишина на много безмолвных верст.

Мы ставили в патефон пластинки Леонардо Коэна. Я одевался и выходил на воздух. Последние листья осин угрюмо трепетали в саду. И стояли в небе звезды, крупные, увесистые, сырые. И так мне хотелось нарвать их, как яблок, принести за пазухой тебе ещё сонной, сидящей на кровати голышом, и высыпать к теплым коленям.

На другой день запуржило, завьюжило. И вместе с тревожной радостью от первого снега, нанесло в сердце какой-то неизбывной тоски. Откуда она приходит? От чего?

Я отомкнул огромным, как в сказке про Буратино, ключом дверь в амбар.

Нашел там:

- старую керосиновую лампу;
- радиоприёмник «Вега»;
- банку вишнёвого варенья;
- валенки;
- прялку;
- обитые оленьей шкурой охотничьи лыжи;
- самодельные деревянные санки.

Мы могли бы кататься с тобой на этих санках с горы возле леса, ты могла бы смеяться и захлебываться ветром от бешеной скорости. Но ты сидела дома и смотрела в окно.

А вечером, будто вспомнив что-то, вдруг засобирилась. Я уговаривал тебя остаться. Хотя бы до утра. Но ты была упряма. Сказала, что хочешь уехать одна, без меня. Так будет лучше.

– Для кого – лучше?

– Для всех, – сказала ты, надевая откуда-то взявшийся бюстгальтер. Оказывается, он лежал в твоей сумочке.

– А как же это «мы можем никогда не расставаться»?

– Я тебе всё объясню. Но – потом, – сказала ты. – Позвони, – в моём кулаке оказался зажатый листок блокнота.

И снова шли мы заснеженными уже полями, стонал в телеграфных проводах ветер. А в тревожном, с лохмотьями облаков, небе, подхваченные этим ветром, все также игрались-миловались вОроны.

Ты уехала электричкой, вложив в тот последний поцелуй, что-то такое, от чего как от неожиданного левого хука потемнело в глазах. Затем, прислонив ладонь к стеклу, долго глядела на меня и уезжала, уезжала, уезжала.

Домой я попал крошечной ночью. Выпил оставшиеся полбутылки водки. Не раздеваясь, рухнул на кровать и уснул.

Утром, затапливая печь, нащупал в кармане твою бумажку. Развернул её и бросил в огонь. Твоего телефона там не было. Были цифры: 1,2,3,4,5.

– Раз – два – три – четыре- пять, вышел зайчик погулять... – произнёс я вслух.

А потом держал в ладони порвавшуюся твою цепочку с крестиком и плакал. Зачем? Почему?

Что было такого между нами, от чего теперь так скручивало в узел горло?

Что было такого в твоих поцелуях, от которых до сих пор у меня, как от волчьих ягод, кружится голова?

Три дня ещё я был в этой деревне. Валялся в кровати. Топил печь. Как чумной слушал Леонардо Коэна.

Но каждый вечер, когда солнце заходило в снега, я брал лыжи, сработанные каким-то волчатником и ехал. Ехал в этот закат красный, а навстречу – огненными хвостами несло поземь. Казалось, все вокруг дымится уймой вулканов. И что там, куда зашло недавно солнце, а тремя днями раньше исчезла ты – там край Земли. А я туда еду. За каким чертом? Не знаю.

## Кит свежий, морской

Деньги ещё какие-то были, но билетов на самолёт не имелось вовсе. Поездом из Анадыря не доедешь, поэтому мы с местным режиссёром массовых действий Славой, как могли, пережидали время. Два раза посещали некие мутные спектакли, ходили в краеведческий музей, а потом принялись за интерактивную игру, придуманную здешними полярниками, надо полагать, тоже не от разухабистого веселья. Называется действо «белый медведь». Штука, в общем, незатейливая. В большую пол-литровую кружку всклень наливается пиво, затем отпивается, а образовавшееся пространство дополняется водкой. И так до тех пор, пока напиток в кружке не станет прозрачным. Это – «белый медведь» приходит. Уходит он, а с ним и все печали, думы окоянные, строго наоборот. На второй день таких испытаний Слава сказал:

– А поехали на Уэлен.

– Для чего?

– Там край земли. – И вообще...

Я оглядел скопление порожней тары на полу, где для прохода оставалась лишь узенькая тропка:

– И так уже, -говорю, – дальше некуда.

Но Слава был настырен:

– Киты там щас, в проливе товарища Беринга, любовь крутят. А чукчи их быют. Понимаешь? Драма!

Утро на Чукотке пахнет мёрзлым бельём, внесенным в помещение с улицы. Мы – русским духом.

Нам везет. Погода благоволит, полный штиль. И вертолет не надо ждать в левом крыле аэропорта неделями. Летим. Небо, как море и можно долго глядеть, как тень МИ восьмого пересекает балки, лощины. Выбирается в тундру. Внизу – пустота на сотни вёрст, ни зверька, ни человечка, только текут в разных направлениях долгие ручьи неких сиреневых цветов.

Слава спрыгивает с подножки, встаёт на карачки и картинно целует землю. Отплеывает крупинки, хрипло произносит, оглядывая простор:

– Дааа.... Дальше только Америка.

Поселок Уэлен ютится на самом крайнем северо-востоке родины, на мысе Дежнева. Около 12 тысяч километров от Москвы, 86 километров до США. Уэлен – адаптированное русскими с чукотского «Увэлен» – «чёрная земля». Название населённому пункту чукчи дали за торчащие на ближайшей сопке крошечные бугры, которые видны в любое время года и служили с приснопамятных времен путникам ориентиром.

Указующий перст, галечная коса, шириной в двести метров, как индейская пирога разрезает два океана – Северный Ледовитый и Тихий. Тут особенно очевидна усердная борьба двух стихий: воды и суши. Гигантская земная плита Чукотского полуострова медленно наплзает на Аляску, вот-вот нахлобучит. Там, в глубинах постоянно происходят тектонические разломы, которые наглядно иллюстрируют всю хрупкость, неуравновешенность бытия в этой части земного шара. Здесь, скованные морозом в огромные неподвижные поля, льды вдруг начинают наплзать друг на друга, крошиться, обнажая трехметровую толщину. То отступают куда-то далеко, оставляя огромные разводья, то опять. Вечное это движение в 80-километровой горловине Берингова пролива делает его чрезвычайно опасным и зимой, и летом. Но и тут люди живут. И давно. Изучая захоронения уэленского могильника, древние стоянки на побережье, учёные определили, что обитаемыми эти места являются около трёх тысяч лет.

...Отчётливо тёплый июнь. Бродят айсберги. Когда они наплзают друг на дружку, получается жалобный скрежет, как если бы железнодорожный состав на медленной скорости преодолевал крутой поворот.

Мы идём разыскивать славинного знакомого старика Элле. Во дворе двухэтажного барака изборозженный канавками морщин эскимос чинит сеть. Развесив её между качелями и детской горкой, сработанной на манер ракеты «Союз». В нехитрых огородах выросшие в землю железнодорожные контейнеры – подарок Абрамовича жителям Чукотки. Контейнеры выдали людям давно. А вместе с ними и надежду плюнуть на всё и уехать когда-нибудь на материк, на Большую Землю. Но проходит год, другой, третий, никто чего-то не едет. Дотащить его до железных дорог – стоит немеряных денег и нечеловеческих усилий. Да и как сорваться, где и кто кого ждёт? Ещё одним памятником экс-губернатору служат здесь нарядные канадские коттеджи. У Акима Элле такой вот коттедж, но он в нём не живет. Там обитают ездовые собаки. Сам Аким ютится в обустроенном строительном вагончике.

Когда мы являемся, старик в падающем из крохотного оконца свете мастерит из моржовой кости какого-то бога. Маленьким перочинным ножом он придаёт ему человеческие черты.

– Угадай, кто к тебе? – лыбится Слава, распахнув дверь.

– Со сколько раз? – лукаво щурится от обилия света старик.

И тут же, узнав Славу, колготится, ставит на буржуйку сплющенное туловище чайника.

– Чай- чай, выручай, – говорит Слава.

Подвинув бога на край стола, в шеренгу таких же уже готовых фигурок, мы выкладываем на стол из рюкзаков гостинцы: макароны, спички, водку.

Гоняем чай, режиссер интересуется:

– Куда ты этих богов-то строгаешь?

– Так это... в Штаты, – говорит дед. – Тут одна художница из Анкориджа приезжала, всех до одного забрала, слышь. Кучу долларов заплатила. Вот столько, – старик сделал небольшой зазор между пальцами. – Закопал в банке.

Некогда изделия уэленских гравёров и косторезов гремели по всему миру. До недавнего времени была целая мастерская именитых художников. Косторезы Вуквол, Хухутан, Тукукай, гравёры Елена Янка, Мая. Теперь всё больше работают на дому. Но изделия сбываются плохо.

Старик же Элле ни дня не работал по трудовой книжке. Сначала пас оленей, добывал нерпу. Затем съездил к шаману, и тот благословил его на то, чтоб богов вырезать. Творения Элле из кости с криками «браво» и даже «ура» приобретались музеями Москвы, Петербурга, Таллина, Дрездена и Рима. Хотя ни в одном из этих городов Аким не был. Его боги были, говорят, в коллекции Брежнева, Ельцина, Ростроповича. Впрочем, и этих людей он никогда в глаза не видел. Когда-то на Уэлен приезжали целые делегации туристов, учёных, музейщиков. Они приобретали продукцию туземцев, какой не было нигде в мире. Аким вырезал животных, сценки охоты, а главное, богов – из клыков, черепа и детородного органа моржа.

Затем туристы и ученые с Запада ездить перестали. Боги любви, достатка, семейного благополучия стали кочевать через пролив на Аляску и дальше в Америку. Говорят, американцы выручают за эти резные кости целые состояния. Но Акиму это до лампочки. Ему-то всего и нужно денег – на покупку новых собак.

Боги Элле иногда охотятся, иногда хулиганят, иногда просто сидят задумчиво.

– Откуда сюжеты? – спрашиваю.

– Так это, слышь. Хожу с ружьём на птичьи базары, в океан хожу на нерпу, а потом вот еще, – он шарит в углу под прелыми сетями и выуживает оттуда бутыль.

– Кыхтым, – гладит ей бок.

– Кыхтым – это..?

– Настойка из трав и сухих мухоморов. Её больше глотка нельзя. Умрешь, может.

– Вштыривает? – хохочет Слава.

– Боги приходят, – коротко отвечает Аким. – Налить?

– Не, – машу руками.

– Тогда уж и я не буду, – вздыхает Слава.

Вечером идем к участковому отмечаться. Рядом граница, до Аляски восемьдесят шесть километров. По дороге встречаем мужиков с ружьями наперевес.

– Куда это они, на ночь глядя? – интересуюсь у Акима

– Зарплата, однако, – буднично отвечает старик.

– А ружья зачем?

– Без ружья не дадут.

– ?

– Карабин сдать надо. Тогда деньги тебе, – говорит абориген.

Столь экзотический ритуал ввел несколько лет назад местный участковый. Зовут его Арон Аветисян.

– Устал я, – говорит он, заперев в подвале сельской администрации двустволки.

Арон так всегда говорит – в день зарплаты зверобойной артели, которая добывает моржей, нерпу. Когда-то здесь таких артелей было около десяти, сейчас одна, и та на ладан дышит. Кроме этого имелся крупнейший оленеводческий совхоз «Герой труда». Сегодня его пытаются раскрутить снова, но оленей осталось мало, а еще меньше тех, кто хотел бы их пасти.

Арон заводит вездеход, принадлежащий некогда полярникам, и мы мчимся к его вагончику на броне. Водительские права в этом посёлке есть только у него, хотя различного рода сельхозтехника: тракторы, грузовики или мотоциклы имеются у многих

– Для чего ружья отнимаете? – интервьюирую его я в люк.

– Завтра отдам, отвечает Арон. – Если придут.

По мнению участкового, эскимосам и чукчам деньги вредны. Получив зарплату, они покупают самогон и съезжают с катушек.

– Дурные становятся, прямо в голову себе стреляют, понимаешь? Суицид называется. На Чукотке ба-альшой суицид. Поэтому я у них карабин забираю. Утром придёшь – получи, дарагой.

– И что, кто-то не приходит?

– Много, брат... Сам их ищу: на свой карабин, распишись! А он третий день лык не вяжет... Улыбается сам себе, бормочет под нос, не разберёшь. Устал я как мама быть. В магазине запретил им водку торговать. Так они самогон покупают. Тут королей самогонных, знаешь, сколько? Вай! Семь, наверно.

– Чукчи и эскимосы стали самогон варить?

– Нет, русские. Полярник, артельщик. Когда станции закрылись, он стал самогон варить. А что делать, брат? На Большую землю? Кто его ждет? А тут семья, гарнитур, шифоньер. Только работа нет. Поэтому самогон гнать. И продавать. Понимаешь?

Арон тормозит у своего вагончика – точно такого же, как у Акима.

– А почему люди в канадских коттеджах упорно жить не хотят? – пытаю участкового.

– Когда шторм, даже маленький, он так дребезжит, что жизнь, вай, медным укрылась как будто! Стра-ашно, как в гробе. Собрали не так, знаешь. Половину деталей украли, брат.

Всю утварь в вагончике Арон Аветисян обклеил маленькими бумажками. На бумажках чужеземные, выведенные ручкой, слова. Так он учит английский.

– Контракт заканчивается, – поясняет он. – Уеду, надо чужой язык знать.

– Далеко?

– В Югославия поеду, дарагой. Миротворцем.

Слава объясняет участковому, что страны Югославии давно нет и миротворцев в ней, в общем-то, тоже.

– Тогда Африка, – ничуть не смутившись, говорит Арон Аветисян. – Армения не могу, брат, я этот, как его, отщепенец.

Один участковый на три поселка – Уэлен, Инчоун, Энурим – Арон Аветисян родом из добропорядочной армянской семьи. Отец – начальник большого ереванского гастронома, мать – заведующая стратегическим холодильником для нужд государства. Три брата занимают ведущие посты на железной дороге. Арон с детства любил читать, «отравился», говорит, «проклятым романтиком». Окончил техникум и махнул связистом на полярную станцию. Отец крепко осерчал. Слал сыну письма, которые начинались так: «Арон, дарагой, рад видеть тебя». Оканчивались письма тоже всегда одинаково: «Ты уехал, и мы плачем по тебе. Мама- три раза в день. Я – четыре. Братья – не переставая. Приезжай, дурная башка». Потом письма приходиться перестали.

Когда закрылась полярная станция, он подался в участковые.

– Уеду, – повторяет Арон. Холодно тут. Ученые говорят: глобальное потепление. Пусть сюда едет, на Чукотка. А я – в Африка.

Полярный день никак не заканчивался, айсберги ушли куда-то всей большой стаей. Размытое двумя океанами солнце прокладывает тусклую дорожку по воде в Америку. Кажется, иди по ней и допыхаешь до благополучной стороны планеты...

Следующим днем на косе, уходящей в пролив, почти цыганский переполох. Женщины, дети, старики, собаки и бакланы провожают артель из семи вельботов на китовую охоту. Мы тоже стоим поодаль. Лодки хоть и с мощными японскими моторами, но долго не исчезают из виду. Они качаются над нашими головами черными точками. Океан как будто касается неба. Но почему-то не проливается. Люди постепенно расходятся. На берегу остается лишь эскимос Витя Хагдаев. Он дежурный по трактору. Если охота будет удачной, Витя подцепит кита за хвост и вытащит своим «Кировцем» на берег.

Часы тянутся в ожидании, и мы уговариваем Витю, пока не вернулись охотники, прокатить нас по студеному морю. Вельбот взбирается на бугры волн, цвета фашистской шинели,

натужно, с рёвом, потом падаем вниз, обмирая. У недействующего маяка-памятника на мысе Дежнева Витя делает разворот. Мы сидим плечом к плечу с биологом Олей. Она из Анадыря, изучает жизнь тутошних насекомых.

– Дежнёв почти на сто лет раньше Беринга открыл этот пролив, – преодолевая шум винта, говорит мне в ухо Оля.

– Чего же он именем Беринга тогда называется? – наклоняюсь я к ней.

– Ну, Дежнёв открыл себе и открыл, думал, про это весь мир узнает. А Беринг, что называется, подсутился, сам лично доклад в географическое общество отнёс.

Ее висок пахнет сенокосами. Брызги застилают глаза. Губы соленые.

На обратном пути Витя завозит нас «во вчера». Машет руками, показывает на часы, мол, здесь другое совсем число. И мы глазами, полными глазами воды, словно обезумевшие от счастья, киваем, дураки дураками.

– Киты! – глушит мотор Витя.

И точно! На фоне ледяных, синих, ужасающих волн далеко-далеко две блески. Вверх-вниз. И вдруг совсем рядом выныривают, запускают в небо фонтаны, танцуют, что ли?

– Ё —мае, – ликует Слава, пытается фотографировать, но болтанка такая, что он едва не сваливается за борт.

Огромные млекопитающие трутся друг об дружку, как вчерашние айсберги, как лошади в гон, хороводят.

Нас относит, Витя запускает мотор с пятой попытки. Очумевшие, все молчат. Медленно причаливаем. По полосе отлива бежит на встречу большой лохматый пёс. Приседает, крутится юлой, радуется.

– Иногда кит уносит лодку охотника далеко, – почему-то говорит Витя. – Или под воду.

– То есть, ты хочешь сказать, что это честная дуэль? – соображает Слава.

– Да, – машет тот свалившейся шевелюрой. – Очень не просто. Если далеко, людей о скалы бьет, там берег крутой.

– Часто?

– Да. Некоторые выживают, идут, идут, приходят, а их гонят... Раньше убивали.

– Отчего же? Люди ведь спаслись, домой вернулись, здравствуй, родная— раскручивает его Слава.

– Не-е, – закуривает Витя. – Их кит забрал, они становятся тереками, отверженными. Настоящий охотник погиб, а это дух, злой дух ходит. Он за людьми охотится и может унести в злой мир.

– Дикий вы все-таки народ...

– Да, да, – машет опять головой Витя и улыбается, рассказывает нам случай, который приключился с одним из здешних зверобоев. В 30-е годы на льдине унесло охотника Ульгуна. Люди похоронили его в своих мыслях. Двое малолетних детей остались сиротами, жена вдовой. В 1992 году, когда была открыта граница между Россией и США, прилетела в Уэлен пожилая женщина из Канады. Сносно говорила по-чукотски, расспрашивала об охотнике Ульгуне. Нашли старейшину. Он вспомнил, что охотника унесло на льдине и он погиб, а дети его рано поумирали – жилось им бедно, трудно. Тут-то и выяснилось, что женщина из Канады – дочь погибшего охотника. Оказывается, тогда, в 30-е, льдину с охотником прибило к берегам Канады. Его подобрала местная инуиты (эскимосы), выходили. Поскольку возвращаться на родину зверобой не мог, женился и жил себе, охотился. Только в сторону другого берега глядел часто, задумчиво и носом шмыгал.

Слава шастает по горловине косы, потом становится, раздвинув ноги циркулем, протягивает мыльницу.

– Щёлкни меня вот оттуда. Одна нога в Ледовитом океане, другая- в Тихом. Чума. Все рядом. В башке моей каша.

В этот день кита не добыли. Охотники приехали уставшие, с чёрными лицами, погрузили в трактор снасти и поехали спать. Утром при том же скоплении публики, отбыли по синим пригоркам волн снова.

Вечером опять весь поселок в сборе. Добыча серого млекопитающего здесь не какая-нибудь мажористая прихоть. Три тысячи лет для аборигенов этих широт, кит- первое большое парное мясо после долгой, шизофренической зимы. Иное мясо им не по желудку, да и не по карману. Во времена развитого социализма в магазин завозили продукты среднерусской необходимости. А также мыло. От мыла тело жителей покрывалось язвами, от мороженных кур, их мутило, и они по несколько дней проводили, кто успевал в нужниках. Поэтому ежегодно для эскимосов чукотского полуострова и таких же аборигенов Аляски выделяется квота на добычу 15 серых китов.

Кит опутан веревками с оранжевыми буями, из боков торчат три старинных, с отполированными ручками, гарпуна. На голове зеленоватые проплешины. Хвост напоминает корму подводной лодки. Тракторист Витя цепляет его тросом, вытаскивает кита на берег, и тот становится виден весь, огромный, побеждённый.

Взрослые подсаживают детей на его горб. Они сперва таращат испуганно глаза, потом катаются, точно с ледяной горки, хохочут.

Далее за дело берутся мужики. Взгромождаются на него и большими, точно секиры на длинных пиках, ножами, разделявают. Самые смачные куски достаются старикам, женщинам без мужей, в сельпо с маркировкой «кит свежий, морской».

Мы стоим со Славой в сторонке, наблюдаем. Охотники улыбаются, тряндят просто-душно что-то по-своему, жуют мантак с солью – порезанную на мелкие кусочки кожу кита. Потом все отправляются по домам, радостные и торжественные – вот и пришла весна.

На распотрошённую спину зарятся какие-то громадные птицы, пикируют. Оставленный сторож шугает их длинной палкой, но как-то вяло, всем хватит.

Завтра кита разберут до конца. Мясо пойдет на засолку, усушку, маринад. Жир на хозяйственные нужды и то же мыло. Из усов сделают исцеляющие душу и тело настойки, кости пойдут на утварь – из позвонков выходят шикарные кресла и. т. д. Останется только череп. Витя зацепит его тросом к своему «Кировцу» и отволочет за поселок, где из таких громадных черепов уже целое километровое кладбище. Будто динозавры жили тут и упокоились с миром.

– А че —о же они, дурные, в этот пролив каждый год приходят. Ведь каждый же год получают гарпун в бок? – Слава роемся в рюкзаке, выуживая бутылку, которую старик вернул ему обратно.

– Так родина тут, блин, – говорит Аким, прорезая пузатому божку глаза. – Они в наших водах любят, рожают. Потом возвращаются.

– Хорошенькая родина.

– Какая есть, слышь, – улыбается Аким, не отвлекаясь.

Вечернее небо с узорами перистых облаков как будто на выставку из Гжели привезли. Сумерки опускались на поселок, как будто зверь укладывался в спячку, ворочаясь, угнездываясь, думая о чём-то своем. Откуда-то из-за горизонта последние лучи подсвечивали торшерным светом только те самые черные сопки, по которым держали ориентир когда-то путники. Мы садимся на пригорке поближе, раскладываем на куртке консервы, складной нож, купленные в сельмаге маслины, довершаем натюрморт водкой с жень-шенем. На этикетке выведено: «Разбуди свою страсть».

Посёлок распахнут перед нами окном. Зажёгся фонарь у деревянной аптеки, заплакал ребенок, промчал на гусеничном вездеходе куда-то Арон. В узеньком проливе встретились два успокоившихся под ночь океана, и равнодушно глядели на нас.

– Не спи, писака, – толкнул в бок Слава. —Разливай давай. Помянем... Китов. Ну, и людей.

## Гномы деда Михайло

Я пришел к нему по глубокому рыхлому снегу. Правда, сначала в уме держал, точнее, в блокноте, собирался, и думал: не помер бы. А в эту осень как-то сложилось все, и вдруг удалось. Самолёт до Иркутска, китайский микроавтобус. Дед Михайло, как он себя называет, а в миру- Виктор Алексеевич Михайлов проживает с собакой Динго, портретом Маяковского, сотнями книг и стареньким компьютером у самого Байкала. Там, где берёт начало река Ангара. Деревня так и называется – Большая Речка.

Он суетится у бурлящего чайника, его внезапно кидает, как юнгу по рубке от накатившей волны, и, снося стулья, громоздкие недоделанные фигуры из дерева, валенки с обогревателя, он буквально летает по избе.

– И так всю жизнь, – говорит после, расставляя стулья на место. – Ладно, я тебе сейчас свою лебединую песню спою.

– Простите?

В окошко его стучат.

– Ой, ребята пришли.

Он идёт в сени и уже там, в проём, произносит:

– Толик, Валя, давайте вечером.

Возвращается, объясняет.

– Школьники это. Ага, приходят, поиграть, почитать. Я им сказку написал. «Яйказнайка» называется. Вот теперь с учительницей, чудесной девушкой Ниной, ставят. Этот, как его... Мюзикл. У меня там много персонажей разных. Зайцы, собаки, кошки всякие. Корова.

– Говорящая?

– Корова-то? Поющая, – хитро улыбается он. И без перехода начинает:

– Так всегда же: «аз» да «буки», деды, бабушки и внуки начинали с букваря. Вот однажды тетя Аня, букваря раскрыла ставни. Как из книги в тот же миг, буква «Я» на стол к ней – пры. Ножку в сторону взметнула, рот капризный изогнула, руки в боки подперла, да как крикнет со стола. «Хватит мне стоять в конце, русской азбуки в торце. Я одна всей роты стою. Кто из вас сравним со мною? – начала она спесиво. – Али я ли некрасива? Я стройна, умна, важна, вы – холопы, я – княжна. Вся Россия меня знает, потому что величает каждый, сам себя любя, лишь одною буквой «Я». Ну, и так далее. В том же духе.

Я много бумаги мараю. Сказы разные пишу, стишки, шутки, прибаутки.

Он опять встаёт и опять рушит стулья, я машинально через стол пытаюсь его подхватить.

– Как дам больно, – говорит он, уцепившись за шкаф. – Придуривается дед, куролесит. Я к этому с 41 го года привычный. Почему я на людях пытаюсь не появляться? Потому что кидает меня. А они жалеют. Ладно. Щас тебе покажу кой-че.

С этого же самого шифоньера, книжных полок, разных углов, он начинает извлекать пухлые бумажные папки. Складывает их на стол, и становится почти невидим. Только голова торчит с бородкой.

– Российская земля – не только у Кремля, – шпарит он, не давая мне опомниться. – По одной уродине – не суди о Родине. По чужому огороду – слюнки текут, по своему – пот, – сечет он будто пулемётной очередью. – Когда ничего не стало, то и редька с хреном – сало. Ну, как? Годится? – тянет он шею из-за папок и убивает меня контрольным. – Более ста тысяч пословиц и поговорок написал. Не хухры-мухры?

– Как это – написал? Даль вон сколько лет собирал...

– Мне же, знаешь, когда-то так повезло. Шарахнуло по башке. Я маленький был в войну и уже был нехороший, контуженный. Долго не знал, где родился даже. Только спустя годы инспектор приюта рассказала, что нашли меня, брошенным в парке Сокольники. Было это перед войной. Случайные прохожие ночью услышали крик грудного ребенка. Пошли на голос и увидели младенца на муравьиной куче. Так что, выходит, я москвич по рождению. Потом отправили в детдом станции Удельная, Раменского района. Там меня усыновили Дедовы, потеряли, опять нашли. Война. Повезли домой.

Помню строгую и добрую бабушку, которая однажды сказала непонятное: «Супостат совсем близко. Надо уходить». Уходить я не хотел, и меня начали уговаривать, что поведут показывать кошку, умеющую рассказывать сказки. Ну, тут уж я согласился. Шли лесом по дороге. Меня нес какой-то солдат. Я его сразу невзлюбил. У него винтовка висела на плече, я от нее все время получал по затылку. Еще у него были очень большие усы. Я его Бармалеем окрестил. Вдруг налетели самолеты, кто-то крикнул «Жабы, жабы», так их звали из-за крестов. И этот дядька-солдат бросился со мной на землю. Знаешь, навалился всей своей тяжестью. Я подумал, что он меня хочет задушить. Стал его бить, кричать. А вокруг стали вырастать какие-то жуткие «цветы». Почему-то они мне запомнились красными. Так я впервые увидел, как взрываются авиабомбы. А в следующее мгновение осколок ему срезал голову, я видел, как она покатилась. Дальше – сплошная чернота. Немцы. Бабушка вцепилась в меня и не хотела отпускать. Немец оттолкнул ее. Она упала, схватила камень и швырнула его в конвоиров. Ответили ей автоматной очередью. Я помню, как немец давал мне конфету за конфетой и смеялся. Я тоже смеялся, с полным ртом конфет, и, довольный, тормозил бабушку, думал, что она притворяется.

И вот после той контузии не говорил совсем. Опять попал в детдом, нас повезли на Урал. Вышел из поезда под Свердловском и потерялся. Там дед меня подобрал. Анисием звали. Он был совсем слепой. Калика перехожий. Могутный такой мужик, огромный, с бородищей, былины пел, сказки сказывал. И вот он странствовал, меня всюду за собой на плечах таскал. Якобы побирался. Нихрена он не побирался. За ним приезжали на телегах, чтоб только привезти. И деревни между собой оспаривали его почти как святого. В деревнях тогда остались одни бабоньки, выжатые горем. Они сами в плуг впрягались... Скотину жалели больше людей. Дед Анисий заходил в избу и начинал петь (Виктор Алексеевич, кашлянув, начинает тоже): «Что ж ты, Пелагеюш-ка, разводишь горькую слезу... Глянь, тучи темные...

Гляди-кась, Пелагеюшка, сокол твой ясный поднялся... Ой да защитил он твоих детушек, галчат махоньких...»

И вот она, скрюченная, убогонькая, рассापливленная, будто распрямлялась. Свет в глазах появлялся. Плечи, как крылья, разворачивались. А дед все пел и пел. Мне он сказал однажды: «Когда сердце ревет, кричит, нельзя с людьми обычным языком разговаривать». У Анисия в роду все мальчишки рождались слепыми, и все потом становились каликами перехожими. Он говорил так: «Мы що самому Ивану (Грозному) показывали. За що он нас медведем жаловал». То есть, на предков его вроде за попрошайничество Иван Грозный медведя натравливал. А они ходили. Анисий никогда готовые былины не певал, сам по ходу все придумывал. Творил. Я хоть и не говорил, но воспринимал, запоминал все. А он, как знал, что ко мне разум вернётся. Не со мной, а с моим будущим разговаривал.

– И что же дальше?

– Однажды подошли к речке. Дед Анисий присел и говорит: «Воробышка, вернись к тётке Матрене, попроси чистое белое полотенце. Я побежал в деревню, а там сразу всполошились. Да ведь к смерти это. На берег пришли, а дед Анисий уже неживой. Так и умер, прислонившись к березе. Ледоход как раз на реке начался. Но ты про это не пиши. Кому интересна эта моя биография? Чай вон лучше пей. Чё ты, как красная девка. Побольше меду-то подцепляй.

Мы молчим. Слышно как хрустят по мерзлой улице чьи-то шаги.

– В общем, потом опять детдом, скитания. Мало-помалу речь ко мне стала возвращаться. Правда, говорил я нараспев, будто былины исполнял. Всё это в меня вошло до такой степени.

Школу Виктор Алексеевич окончил в 30 лет. Потому что, говорит, в одном классе сидел года по два, три. Учился в одном месте, в другом. Частенько отправляли в психушку. Контузия его на время утихала, потом опять шибала. Но при этом он умудрился отучиться в иркутском университете. Филологический факультет. Преподавал в различных школах губернии русский и литературу, работал в малотиражках.

– Однажды девочки из класса, который я вёл, попросили написать на выпускной стих. Я уже тогда всюду баловался. Настрочил ночью. Они говорят, Виктор Алексеевич, это же песня. Напишите музыку. А откуда я ноты знаю? Ладно. Иду вдоль речки, под мышкой глобус, папка. Вдруг слышу – широко так песня звучит, будто по реке стелется. Исполняет моя любимая певица Зара Дулумханова. Про-о-ощай моя школа (голос у Михайлова тенорный, так сказать, с песочком). И так она её пропела, что аж мурашки у меня. Я думаю: как это? Ведь я же сегодня только стихи эти написал. Как Зара могла в Москве это спеть? Прибежал домой, наиграл на балалайке – песня готова. И начались казусы. Читаю, допустим, Алексея Толстого, тут же мелодия выходит. Думаю, вот опять глюки начались. Дальше – больше. Уже, в общем-то, дед был. Зашел как-то в книжный магазин, муторно на душе. Взял с полки первую попавшуюся книжку, оказались пословицы. И так что-то меня переклинило, что вслух стал произносить свои. Им прикрыть бы срамоту не ту, носить бы им трусы во рту, потому что срамота у них исходит из рта. Шпарю, шпарю. И тут один мужик говорит: «Дедуля, ты записывай. Прямо в копеечку.» Только он это сказал – всё, капец. Меня отклю-

чили. С этого и пошло, вон уже сколько наштрябал, – стучит он ладонью по толстым папкам. Ворсинки пыли подчеркивают каждый луч солнца.

– Выходит, вы прям кладезь какой-то.

– Какой кладезь, елки-моталки. От болюшки все.

– То есть поэзия, как формулировал Довлатов, это форма человеческого страдания? Не будет лыжей по морде – не будет и поэзии?

– Я не знаю. Ощущение жизни у людей пропадает куда-то. Никто не делает ничего своими руками. Не страдает, если не получилось. Не мучается. Не любит ничего и никого по-настоящему. Чтоб, если не выйдет – пулю себе в лоб пустить. Хотя бы теоретически. Я тоже тут не безгрешен. Вот женился на Сашке. Она – чудеснейший человек. Так? Мягкая, добрая, ласковая. Аринушка Родионовна – вот кто она. А потом пошли мы как-то в баню, она маленькая, полубурятка такая. Смотрю – ноги у нее гнutenькие, будто с лошади только слезла. Думаю, щас выйду из бани и тебя брошу. Увидел – и всё, нет жалости, нет любви. Когда со мной эти приступы вот опять начались, я тогда на Алтае работал. Она в Иркутске была. И подумал, вот буду так летать, а ей куда деваться. Станет возиться со мной, жалеть. Я буду маяться. А ведь нет несчастье, чем считать себя несчастным, – цитирует он опять себя. – Взял и подал заявление на развод. Дурак, конечно, но мне простительно, – только в уголки губ, пустив на время сожаленье, улыбается он, и тут же спохватывается.

– Ладно. Щас я те книжку подпишу.

Он опять улетает – сшибая дядьку Черномора, деревянного всадника на лошади, на этот раз его задерживает печь.

– Вот-от, – хорохорится дед. – От неё и потанцуем.

Затем выискивает на полке нужную книгу.

– В прошлом году крупца из моих строчечек вышла в местном издательстве, – говорит. – И несколько сказов. «Сказ о Байкале», например.

– И как отреагировала общественность?

– Молча. Поэты местные меня не любят. Считают выскочкой. Где ж моя ручка? Володька приходит, ручка пропадает, – улыбается он одними глазами, не глядя на меня совсем. – А, вот.

Подписывает долго, старательно.

– Но что мне до тех писателей. В себе бы разобраться. Иногда с самим собою, знаешь, как трудно жить, никак не получается. Преодолеешь вроде что-то, а дерьмо все равно вот сюда, к глотке лезет, я его туда, оно обратно.

– Как же быть?

– Как, как. Пою. В былинном стиле.

Он запекает сперва потихоньку, затем, крепче, разгораясь. Словно нитки, жилы из себя вытягивает.

– Что ж ты, старый дурень, здесь развесился, глянь-ка в зеркало, ай да посмотри. Да нешто ты во слезах-то будешь свою бороду мо-очить? Ну, и так далее. Легче малость становится. Чего я дожил до 80 лет? Потому что стараюсь зла никому не желать. Я много видел, много обошел. Били меня страшным боем. И когда кого-то ударят по лицу хоть в кино, я прямо знаю это ощущение, крови, соплей.

– Ну, так еще Даль говорил, что сытые и богатые пословиц не пишут.

– Ну. Причем, все спонтанно рождается. От снега за окошком, от фразы чьей-то оброчной по телевизору. Все, что вышло у меня хорошо, вышло случайно. Нет здесь моей большой заслуги. Я только взял, не поленился, записал. Как получилось не мне судить. Главное, чтобы что-то хорошее осталось, порыв душевный, мысль добрая.

Кукушка в часах, пружинно оповестила о времени. Пузатый щенок выкатился из-за печки и стал играть с собственным хвостом, намереваясь ухватить его, поймать. Хвост окazyвался гораздо шустрее.

– Ого, всполошился дед. – У меня процедуры.

– В каком смысле?

– Я, старый пень, три раза в день на снег босиком выхожу, в огород, и там обтираюсь.

Тень от дома занимала половину сада. Сосны у Ангара стояли все в снегу, будто паруса фрегатов, ожидающих ветер. Виктор Алексеевич выскочил в одних трусах. Так, вероятно, должен был выглядеть Иван-Царевич из сказки, если б состарился, но не растерял свой пыл. Он что-то мурлыкал себе под нос. Потом оттянул резинку, шлепнул себя выстрелом в живот, и принялся обтираться снегом. Я поёжился. А он пел, и снег опускался по его плечам, иссякал, путался в бороде.

– Хорош, – скомандовал дед сам себе и сиганул к дому, сверкая по пути пятками. Я покурил. Когда зашел, он уже пялился в компьютер.

– Ёлки-палки, я ж не знал, что ты приедешь. Хоть бы позвонил. Сидишь теперь на чаю, кишки моешь. Хлеба хочешь?

Я не хотел.

– Тогда я сейчас тебе из свеженьких прочту. Ах, ты. Где? Куда убежала, – говорит он строчке, будто она чудесным образом ожила.

– Амуром аукнется, дитем откликнется. Пойдёт? – глянул он поверх очков. – В любви и ворона журавль. Или вот. Кто в Иркутске – свинья, тот и в Париже – не голубь. Аршинами нас не измерить, мы – в тоннах дураки. Язык всегда беднее мысли, но всяко богаче глупости.

Солнце перевалило сопку, и щенок обогретый печкой и лучами уходящего дня, сидел в рыжем пятне, осоловелый, глядел в одну точку, подремывал.

– Больше всего, конечно, у меня о любви, о нас в этом мире, и о матери. Ты говоришь, откуда. Знаешь, какое у меня было однажды потрясение. После я надолго в комнату с белым потолком загремел. Мать я свою нашёл, – снимает он очки и щурится от мандаринового света из окна. – И лучше бы и не находил. Всё во мне перевернулось. Оказалось, что она только на двадцать пять лет меня старше Пила страшно. Видишь, как получается.

Он потер глаз.

– Любить трудно. Самое сложное, взять да и простить. За всё. Нет предела высоты мудрости, но куда беспредельней бездна глупости. Короче, много у меня этих пословиц-гномов. Сам видишь. Вот такой перед тобой поэтик. Не стану кокетничать, мне немного осталось. Врачи говорят: у вас Виктор Алексеевич, такая ситуация, что должны радоваться каждому прожитому дню. Я и радуюсь. Но только не хотелось бы, чтобы более 100 тысяч афоризмов, пословиц, гномов моих оказались на помойке. Хочется моих ребятушек (пословицы) в народ вывести. Может, они и не нужны никому. Может, из них костер хороший получится. Ну что ж, мы старались, – улыбается он.

Я засобирался. Вечером у меня поезд дальше, по Транссибу, на восток.

Виктор Алексеевич поднялся, оперевшись на увесистые свои папки.

– Приезжай, – сказал он, малость даже опечаленно. – Только уговор – в следующий раз дня на три. На Ангару ходим, омуля половим. Закоптим. Во дело будет.

Мы долго прощались у калитки. Мама щенка овчарка Динго терлась о колени, падала на живот и от радости скулила. Я уж поднялся на пригорок. А он всё махал и махал. Потом крикнул:

– Я там банку таежного мёда в твой рюкзак сунул. Выкинешь – отлуплю.

## Большое сердце вечной мерзлоты

Аэропорт в Норильске называется Алыкель. В переводе с языка эвенков топоним звучит не иначе как «счастье». Мы летели к этому счастью три с лишним часа.

Егор Петрович – водитель огромного экскаватора в шахте «Комсомольская», не найдя поблизости земляков, чинно употреблял из горла коньяк и доставал всех ликбезом о тамошних широтах.

– Зона была. Тюрьма. А потом красивый город стал. Весна у нас, знаешь, как приходит? – объяснял он соседу немцу Генриху. – Что ты. Фильм «Любовь и голуби» видел?

Сотрудник кафедры зоологии одного из университетов Австрии, вероятно, с фильмом этим не сталкивался, но на всякий случай кивал. Он в России впервые, да и кино вроде жалуется, а сейчас летит к местному биологу, изучающему жизнь волка за полярным кругом.

– Ничё ты не видел, куртуазный бюргер, – сокрушался Егор Петрович, свой тулуп он не снимал до конца полета. – Короче, там, в кино, помнишь, как на деревьях – раз и цветы выстрелили? Вот и у нас так. Чуть оттаяло, и бац, прямо минуя почки и завязь. Волшебство. Не до романтических соплей. Зима – тоже. На работу пошел в рубахе с коротким рукавом, оттарабанил смену, переоделся, глядь в окно, ё-мое, там снега по колено. Поэтому мы зимнюю одежду летом не в шифоньере храним, а в раздевалке.

ТУ-134 заходил на посадку три раза, двигатели ревели. Внизу мело.

– Сядет, – точно прокурор вынес решение Егор Петрович. – Или в Хатангу загремим.

Когда самолет приземлился, бледный Генрих захлопал. Звучало это пощёчиной по мужественному сердцу аборигена.

– Ты чё, немедленно прекрати, – сурово и театрально морщился Егор Петрович. – У нас сюда самолеты, как электрички ходят. Больше ни на чём не доедешь. А ты в электричке же у себя там не хлопаешь?

– Фантастика, – зачем-то сказал австриец.

– Оно, конечно, – недовольно пробубнил Егор Петрович. Но было видно, что он рад, что наконец-то долетел из этой кишашей Москвы, что дома ждут, что завтра на работу, а сегодня еще есть повод посидеть с друзьями, ведь он же вернулся.

Мы вышли на крыльцо. В метели можно было захлебнуться, утонуть. Женский голос сообщил в громкоговоритель, что в скором времени подойдут тягачи и, стало быть, прочистят до аэропорта дорогу.

– В Норильск? – проявился из метели вдруг человек в ушанке.

– Ему – да, – сказал Егор Петрович. – Я до Кайеркана.

– Поехали, – махнула в сторону сугроба голова.

– На оленях, что ли? – пытался шутить я.

– На оленях, на оленях.

За сугробом стояла 24-я «Волга». Она тарахтела и распространяла пар. Боковые стекла машины были занавешены мерзлыми узорами.

– Как же вы сюда добрались? – спросил я, упав на заднее сиденье вместе с рюкзаком. – Люди вон каких-то тягачей ждут.

– А я ушлый, – сознался мужик. – Вдоль Карского моря на вездеходе, знаешь, по каким сугробам летал.

Мне почему-то не хотелось уточнять, по каким. Мне и этих хватало. Он весело продолжил.

– Да и разве ж это метель?! К вечеру, гляди, чёрная пурга завернет, вот где песня будет. Руки своей не увидишь, если вытянешь, конечно.

Я подышал на узор, растопив дырочку. Дорога в некоторых местах была переметена высокими снеговыми «барханами». На подъезде к ним водитель Виктор поддавал газу и начинал быстро-быстро крутить рулем. Сначала в одну, затем в другую сторону. Сугробы бухали о лобовое стекло и сухо ссыпались, а Витя ликовал, как пацан.

– А я на своём гусеничном экскаваторе вальс танцевал, – тоже почему-то радостно вещал Егор Петрович. – Ну Чебоксарский тракторный завод такие выпускал, что у них гусеницы независимо друг от друга работали. Водила наш уважительно качнул головой, мол, знаю, че ты...

У треугольного знака с изображением паровоза он чинно притормозил, будто пропускавая железнодорожную единицу. Поезда не было. Верхушки айсбергов дымились, будто вулканы. Да и откуда ему взяться, если на путях снег высотой с хрущёвский дом.

– У вас тут, наверное, и машины не угоняют? – спросил я его совсем не в тему, чтоб хоть как-то отвлечь от идиотского лихачества.

Тут он и вовсе бросил руль. Повернулся вполоборота, озарив червонным золотом зубов.

– Ну ты чипс! А куда гнать-то? Здесь и колючек по этой причине вдоль тюрем не строили. Тундра, однако. Беги волкам на потеху.

Мы вошли в «бархан» бампером, Витя вяло обернулся, словно хотел разглядеть, что там за недоразумение.

Минут через сорок, высадив Егора Петровича, оставили позади Талнах и въехали в город. Всюду трубы, трубы. Девятиэтажные дома во всех этих населённых пунктах сто-

яли, словно на курьих ножках. Сваями они держались за мерзлую вечность. Фасады высоток были разукрашены неуклюжими детскими рисунками. На сером бетоне то и дело зацветали сады, изламывалась радуга над рекой.

Таким способом Норильск компенсирует нехватку атмосферного тепла. А еще переулками, сооруженными в стиле южного классицизма, тропическим декором в точках общепита и бесчисленными объявлениями о том, где можно сделать африканские дреды.

О чем бы ни заходили разговоры в этих краях, они обязательно сводятся к шахтам, к медеплавильным цехам, мурдам, конвертерам, шуровкам. Я, собственно, тоже приехал провести один день в шахте под названием «Надежда». Экипировавшись в портянки, в резиновые сапоги, штаны, куртку, противогаз, каску и расписавшись за налобный фонарь, мы с мастером бригады бульдозеристов Сергеем Будановым минут пятнадцать спускались в лифте.

– Сколько еще? – спрашивал я.

– Скоро, – подбадривал мастер. – А что ты хочешь, как-никак самая глубокая могила.

– Что?

– Да эт я так.

Внизу стоял на рельсах подземный почти игрушечный поезд. Маленький остроносый машинист восседал в своем кресле, словно король троллей. На расстоянии его вытянутой руки тускло блестели электрические провода и уходили в сторону преисподней. В электровозе, как в тракторах 30-х годов, отсутствовала кабина.

– А что же у вас и локомотивное депо есть? – попытался завязать я с ним узкопрофессиональный разговор.

– Имеется, – важно сказал король троллей.

– И составители поездов?

– Конечно, – глянул он на меня юркими глазками.

– Какова же протяженность этих железных дорог?

– Пять тысяч километров, – невозмутимо ответил король.

– Вероятно, вы хотели сказать, пять сотен километров? – настаивал на точности я.

Король троллей в кривой ухмылке дернул щекой и погудел.

Он был исполнен величия настоящего космонавта.

Согнувшись в три погибели, я протиснулся в вагон. Мастер Буданов берег мне место. Двери в вагон были похожи на ставни на деревенских домах, их следует закрывать вручную,

на щеколду. Вагон тут же погружался во тьму. И только в узкую щель видны были тени от зеленого фонаря, чьи-то притопывающие пыльные сапоги. И пошёл поезд, пошёл.

Так в темноте мы проехали восемь станций. На некоторых входили люди, на некоторых выходили. Совсем как в настоящих поездах.

Мастер дернул меня за рукав: – Наша.

Мы вышли и помедлили, дожидаясь кого-то с долотом.

– Долото-то взял? – спросил мастер этого кого-то.

– Взял, – басовито ответили ему.

– Это хорошо, что ты долото взял.

«Наверное, воздуха мало,» – подумал я об этих сомнамбулических диалогах

Мы двинулись гуськом. Пересекли ручей и долго углублялись в неосвещенную пещеру, выбирая себе путь тугими лучами налобных фонариков.

– Сергей, – поинтересовался я, – правда, что ли, мы на глубине восьмьсот метров?

– Если быть точным, восьмьсот семьдесят.

Я замолчал, шёл в спину ему. Пытался представить весь этот слой, состоящий на четверть из вечной мерзлоты. Людей, которые ходят там, наверху, греются чаем в кафе, ведут разговоры, а в Москве вообще тепло и снега нет. Я пытался представить это, и за спину меня щипали. В лицо дул мертвый, отдающий пылью после дождя, ветер.

– Не дай Бог, конечно, – осторожно сказал я. – А вот если где-то ход обрушится, сколько здесь можно куковать?

– Вечность, – сказал Сергей и выдержал паузу. – Да не ссы ты, с безопасностью все в норме. Как-никак самая ударная комсомольская шахта была. Умы тут работали – будь здоров. Советский премьер Алексей Косыгин мечтал создать здесь, как в инкубаторе, особую породу людей. А потом надоело, Норильск ведь хотели даже оставить, бросить весь построенный город. Обнаруженные ископаемые быстро закончились. Правда, тут как раз геологи и нашли такие залежи золота и никеля, что лет еще на пятьдесят хватит.

– А что потом?

– Чё ты пристал. Потом ещё найдем.

Мы наконец вышли на освещенное просторное место. Там стояло несколько тягачей, похожих на какие-то инопланетные машины, и штук пять таких же бульдозеров. В одном из экскаваторов с зажжёнными фонарями на касках копошились мужики.

Со всеми мы поздоровались за руку. Даже с теми, которые были в обложенных кафельной плиткой ремонтных ямах. Потом заглянули в мастерскую, где токарные станки, фреза

и с щербинкой старый-старый чайник. Мужики добавляли в алюминиевые кружки с заваркой тягучее сгущённое молоко прямо из проткнутой отверткой банки.

– Вова, – крикнул мастер одному из них, – ну чё, рванули?

– Ага, – хлебнув на ходу из кружки кипятка, напялил каску тот.

Ещё одной пещерой мы прошли к тягачу с тележкой. Над тележкой имелась крыша, а внутри – череда скамеек поперек. И тронулись, ехали, то спускаясь, то поднимаясь. Это было самое настоящее подземное государство. С указателями, с ответвлениями, перекрестками и знаками, помечающими главную и второстепенные дороги.

Мы доставили в бригаду взрывателей кабель и отъехали в укрытия.

Текла вода, работал трансформатор. Минут через десять далеко и гулко грянул взрыв. Потом до нас поверху дошло облако пыли, и мы пережидали его в противогазах. Говорить было бесполезно. Когда все улетучилось, осело где-то, Сергей дал указание своим бульдозеристам. Они подъехали к обрушенной руде и стали толкать, ссыпать исполинские глыбы в огромные черные дыры.

– А там что?

– Ад, – коротко ответил Сергей и улыбнулся.

Вытянув шею, я заглянул в нутро. Транспортёры тащили наверх сыпавшуюся в эти дыры руду, переваливали затем на другой транспортер, тот ещё выше, и так далее до медеплавильных цехов, где эту руду «варят», отделяя от нее собственно медь, никель, кобальт, золото и платину.

Часа четыре ещё мы колесили по царству подземных дорог, фары тягача выхватывали различные надписи на стенах, ориентиры.

На одной из остановок, где меняли водяной компрессор, шофер Вова закурил и сказал:

– А Серегу на прошлой неделе такой рудой завалило. Только взорвали, вроде проверили всё, нависаний нет. Он стал работать, а одна глыба не шла в дыру. Он прыг в гредер, жажнул по ней, а со стены камнепад.

– И что?

– А чего, ничего. Серега еще грейдером умудрился мужиков заслонить. А сам нырнул щучкой в пространство между кабиной и педалями. Кабина, само собой, всмятку. Мы думали, его и живого-то нет. Пока резак нашли, пока то-се. И вдруг он оттуда, из-под камней, запел. Ага, там прям лежит и басит.

– Хорош трепаться, – сказал Сергей. – Поехали.

И опять мотались по «улицам» подземелья, кому-то поменяли муфту, кому-то подвезли горючего.

Потом, когда сдали всё и вышли из душа, Сергей сказал:

– У нас-то тут еще ничего.

А вот в медеплавильных цехах, там ад настоящий. Жара, пекло, огромные ковши с расплавленной медью над башкой вечно летают. Пары свинца, ртути. Там мужики, как гуманоиды ходят. Из рта шланг торчит, иначе надышишься, коньки отбросишь, а в другом уголке рта частенько – сигарета.

– Во как раз щас выброс оттуда, – сказал Сергей, когда мы шли от проходной к автобусу. – Чуешь?

Я чуял, потому что слезы текли по щекам, сердце стучало прямо в горле.

– Это нормально, – констатировал бригадир. – Месяца через два привыкнешь. Сернистый газ. Поражает легкие, печень. Убивает активные клетки крови. Я вот думал, три года отработаю здесь и домой махну, в Сочи. Думал, я круче всех. Здесь ведь все так думали. Меня-то это не затянёт. А потом женился, дети. Квартиру дали. И понеслось. Зима, короткое лето, зима.

– Так всегда же можно открыть дверь и выйти.

Он посмотрел на меня:

– Понимаешь, я там, на «материке», сдохну теперь. Пятнадцать лет здесь ошиваюсь. Из-за разряженного заполярного воздуха сердца у нас тут увеличиваются. Во такие, – он показал внушительный кулак, – бычьи становятся. Но ниче. В шахте целый день проколупаешься, потом вылезаете наверх и... кайф. Все любишь, дурацкие эти трубы, цветной снег, вечную мерзлоту.

Условные тротуары Норильска в роскошных сугробах отмечены веревками, которые колышет ветер. За них нужно держаться в чёрную пургу, чтоб не сбиться с пути. Люди идут, будто из пучины тянут сети.

В такие дни аэропорт по имени «счастье» закрыт до лучших времен. Никто не знает, сколько продлится эта пурга, может, день, может, неделю. И я двое суток маюсь в гостинице, читаю местную прессу и вдруг обнаруживаю, что самое вопиющее преступление тут – квартирная кража. Что в Норильске напрочь отсутствует такой социальный элемент, как бомжи. А в такой-то печи допущен выход расплава в цех – 200 тонн. Но под конец дня второго это заточение становится тягостным, да и денег на телефоне в минусе. Как-то надо сообщить в Москву, что меня не задрал полярный волк, и не завалило в шахте. Я выхожу, лезу по «барханам». Салон находится минут через тридцать блужданий. А там девушка нездешней совсем наружности, в желтой майке с названием фирмы. Оторопь берет.

– Чай, кофе, виски? – улыбается она. – Это ещё мало баллов. – Прошлой зимой такая метель была, что у нас с вечеринки один парень пошел в магазин за коньяком и заблудился. Три часа путешествовал.

Дурак бы отказался от чая, да и делать было нечего. Девушка жила недалеко, не мог же я её не проводить.

А потом случилось вот что. Девушка Света вышла на проезжую часть и, помахивая карманным фонариком, остановила КамАЗ с гредером. Они сновали по улицам в фонарях, расчищая дорогу.

Я даже не успел поблагодарить, сказать на прощанье что-то, она будто в сугроб обернулась, исчезла.

– Садись, садись, – лыбился из тёплой кабины дядька. – Тебе куда?

Мы мчали с ним по снежному городу, как по ущелью.

В едва проглядываемых сквозь пелену окнах горели огни.

– Да-а, – протянул он. – Припорошило. Новый год скоро. А там уж и время побежит с горы.

Ночью зазвонил телефон, горничная сообщила, что пурга, наконец улеглась, часа через четыре-пять расчистят дороги и взлетку. Можно собираться.

Я пришел к ней за кипятком, чтоб залить порошок кофе. Вышел на крыльцо с чашкой, темно было еще совсем. Город спал. Но ветер не прекращался. Я почувствовал, как замерзают на ресницах слезы. И как одновременно смешно и больно закрывать глаза с колючими льдинками.

## Давай, Джон!

– Дохляки, – сказал дядя Саша, по-нижегородски упирая на букву «о». В ринге, очерченном расступившейся толпой, висели друг на друге два гренадерских гуся. И сопели. Они напоминали боксёров-тяжеловесов, тайком договорившихся поделить куш.

– Мой бы здесь наверняка апперкотом вдарил, – дядя Саша показал, как; стоявшие рядом образовали некоторую прореху. Гусыни тем временем бродили от дерущихся поодаль, теребили прошлогоднюю мертвую травку. – Петрович, ты, небось, гусака-то в одной корзине с «любкой» вез? – крикнул дядя Саша кому-то в толпу. – Он ее, поди, всю ночь и жарил. А теперь больно надо ему драться.

В толпе загыгыкали.

Петрович сам, как гусь, двигавшийся на корточках, отмахнулся. Сдвинул со вспотевшего лба на затылок изношенную кроличью шапку.

Гуси топтались так еще долго, ни «бе», ни «ме», пока судья не развел в сторону руки, объявив ничью.

А из машин, выстроившихся в ряд у магазина «Магнит», уже несли следующих. Гуси негодовали, скандалили, упирались.

– Ты смотри, – изумленно говорил сам себе мужик, волоча птицу чуть ли не за шею, – нихера не хочет драться. Не хочет и все.

Магазин притягивал не только автомобили. Вскоре оттуда явились два дяди Сашиних товарища – Коля и Володя. Судя по блаженному выражению их прослезившихся лиц, приобрели они в этом заведении не только батончик «Марс».

Гусиные бои в Павлове-на-Оке Нижегородской области – это более чем вековая традиция. Еще император Николай Второй, наезжая в эти места, восхищался их умением биться за гусыню едва ли не насмерть. После прихода к власти большевиков забаву, как некий элемент буржуазности, прекратили. Но местные любители, или, как ни сами себя называют, охотники, породу умудрились сохранить. Птицу натаскивали втихаря. Во дворах, в хлевах и даже в избах. Скрещивали, менялись, воровали.

Только в 90-х бои вновь разрешили. И вот каждую весну, как только начинает припекать солнце, удлиняя на крышах сосульки, в Павлово съезжаются заводчики бойцовых гусей со всех окрестных мест. И не только. Теперь этих огромных красивейших птиц разводят везде – от Курска до Улан-Удэ. Возят на бои в специально плетёных корзинах через сотни верст.

Но вот абсурд: с тех пор как бои опять разрешили, сами гусятники, по мнению дяди Саши, как-то обмельчали, что-то нарушилось, умерло в них самих, человеческое, важное что-то. И теперь, говорит он, всё происходящее напоминает дешевый театр с декорациями из картонных коробок. По этой причине он и не участвует в нынешнем действе. Точнее, не участвует, потому что не взяли, его гуся нет здесь. А кому же, усмехается он, интересно,

когда один выходит и всех побивает. Тут нужно шоу. И оно с некоторыми оговорками происходит.

Нам нравится дядя Саша. Он какой-то крепкий, не надломленный, что ли, каждодневной рутиной, и печальным несоответствием реальности после вчера употребленного... Он обещает показать нам настоящий гусиный бой, а мы и не против. Усаживаемся в его большелобый автомобиль «Волга», покидаем город.

Дальние кущи за стеклом окутаны синим. И в крохотную форточку, которую я открываю, чтобы покурить врывается ветер. В нём уже так много от талого снега, от шальных ручьев, что в который раз одолевает обманчивое: все можно начать снова. Влюбляться, сходить с ума, жить.

– Так как же их тренируют? – повторил я дяде Саше свой вопрос.

– Ну, как? – глаза его степенно поглощали шоссе. – Вот они ещё только из яйца вылупились, а уже видно: этот будет драться, а этот, – переключил он скорость, – пусть так ходит.

– О! – всполошился сидевший со мной плечом к плечу Николай. – Как в футболе!

– Но и тот, которого ты определяешь в бойцы, ещё через многое должен пройти. Он либо шебутной чересчур, горячий. Такого надо на землю спускать, чтоб не зарывался. Или, бывает, прыжок никакой – надо ставить, кому-то силы удара не хватает.

– Я ж говорил, как в футболе! – укрепил свою мысль Николай.

– Или вот, допустим, «любки», – кашлянул дядя Саша в кулак. – Некоторые сгонят всех в одну кучу, гусак ходит-ходит, то на эту вскочит, то на другую. Анархия, бляха-муха. Но так можно разве? Тут надо наблюдать: ага, на эту глаз положил. Раз её – и отсадил к весне. Тогда у них и тяга друг к другу будет. Он порвёт всех за нее. У моего вон три их, бабы-то, – неожиданно сказал он, – и со всеми, тьфу-тьфу-тьфу, справляется.

Он подождал, пока мы обгоним фуру, сказал потом:

– Но любимая, конечно, одна. Я её у соседа купил. Один раз слышу, мой с ней через три двора перекликается. И как они это делают... сердце заходится. Ну, я пошёл, еле уломал. Бешеные деньги, между прочим, отдал. И вот он за ней ухлёстывает, что ты! Прошлый раз с Петькиным Красина гусем схлестнулся, дыхалку ему сбил, и, пока тот очухивался, он уж на нее вскочил, оттоптал благополучно, и обратно драться. Пять лет никому не проигрывает уже с ней.

Здесь Николай ничего не добавил, он молча смотрел в окно на перелистывающиеся пейзажи, думал.

– А от меня жена ушла, – сказал совсем без тоски даже. – Уехала в Волгоград и не вернулась.

– Ну, ты бы узнал, жива ли? – сказал я.

– Конечно, узнал. С дирижёром филармонии живет. Ты не подумай, она хорошая. Я говно.

Он достал из-за пазухи бутылёк, приложился, утер ладонью выступившее на глазах благодушие. Потом вдруг опять всполошился, стал пытаться меня футбольной статистикой.

– Кто был единственным в Советском Союзе капитаном футбольной и хоккейной сборной?

– Бобров, – пожал плечом я.

Далее он спрашивал о первом обладателе «Золотого мяча», о человеке, который первым забил 400 мячей в чемпионате СССР.

Где-то я угадывал, и он досадно бил ладонью об ладонь, будто проиграл мне лошадь. Где-то я давал маху, и он радовался, как пацан, подскакивал на сиденье, бился башкой об крышу и колотил себя в грудь, туда, где сердце размягчал алкоголь, и оно становилось податливым, точно свинец.

– Коля у нас знаменитостью, между прочим, был, – сделал заявление дядя Саша. – Токарь, слесарь, жестянщик. В «Сельхозтехнике» на нём весь парк комбайнов, зилов и газонов держался. Узики там. Но это ладно. Он еще у нас местным Гаринчей был. В команде «Волга» во втором дивизионе лучший бомбардир три года. Ты, поди, про такую команду и не слышал?

Я честно сознался, что нет.

– Ну, вот, а он каждый год по 28 мячей заколачивал.

– Один раз двадцать пять, – уточнил Николай и шмыгнул носом.

– А потом что же?

– Известно, что, – дядя Саша посмотрел на Николая в зеркало. – Начальство сказала, бя. Хорош тряхомудием заниматься. Техники негодной больно много в тот год скопилось. А он – футбол.

– Пришлось запить, да?

– Почему сразу запить, – немного обиженно произнес он.

– Просто ушёл из футбола и все. Надо чем-то одним заниматься хорошо.

Он помолчал, потом dokonчил тару, сказал:

– Ты не думай. Я ж не пропойца какой. Просто бывает так, душа поеёт, надо, понимаешь.

Я его, кажется, понимал.

Село Сосновское, где проживают Николай и дядя Саша – обыкновенный, можно сказать, населенный пункт советского типа. Серые пятиэтажки, облезлые коты с сонными мордами, подозрительные личности на скамейках. Дядя Саша проживает в одной из таких пятиэтажек на окраине. Зато прямо у его подъезда стоит крепкий сарай, похожий на зимовье сибирских охотников. Внутри, как в галерее. Старые портреты вождей – Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева. Обнаженные красавицы, выданные из разворотов журнала «Плейбой». Хлев разграничен для разной живности перегородками. Посередине выводок со свиноматкой, напротив – боров, лежащий на громадном пузе, который сопит так, что разлетаются в сторону с пола опилки. Над каждым животным табличка с именем, прочая информация. Прямо-таки немецкая какая-то дотошность. «Сара», – значит над небольшой свиньей. «Оплодотворял 25 января без возбуждителя».

На верхней балке под низким совсем потолком маркером записан чей-то телефон с множеством нулей в конце.

– Это Саня президенту звонил, – пояснил Николай. – Хотел вопрос задать, что-то там про сельское хозяйство.

– Задал?

– Како там. Не пробьешься, – вздохнул Николай, как будто и сам по какой-то причине тревожил президента. – Сашка он, молодец. Хозяйство, гляди, какое держит. Дочерям обеим помогают.

– Ромка, сука, ты на хера трех депутатов съел? – донёсся до нас откуда-то голос. – И бабе еще голый низ отхватил.

Мы заглянули в дверь, там, в надышанном маленьком пространстве и косых лучах света из оконца стоял дядя Саша и белый с пятнами теленок. Он вдруг взметнул хвост, подкинул зад и стал носиться, взбрыкивая.

– Василич, – сказал Николай серьезно, – вон гляди, он твоих депутатов уже того, высрал.

Дядя Саша пнул лепешку в угол, обтер о солому башмак.

Затем он долго ловил гусака и гусыню, нежно, как породистых щенков, уложил их в картофельные мешки.

В проёме двери появилась жена.

Николай сразу вышел на воздух.

– Вот хочу к деду на драку отвезти.

– Тебе делать, что ли, больше нечего, – шикнула она, но всё равно было отчетливо слышно.

Дядя Саша не стал ничего возражать, он просто отнес гусей в багажник, завел двигатель, мы тронулись дальше.

Деревня Шишково вязла в сугробах. У заброшенного дома, где остов ржавого трактора занесло по самую крышу, мы свернули налево. Вышли, оставив в багажнике умолкших гусей. Ни души не было вокруг. Только у озера в тополях усердно пели синицы, как будто скоро что-то наступит, сбудется, произойдет.

В пахнущих баней сениях, мы обстучали подошвы ботинок от снега, вошли в дом. Прямо у порога стояла классическая русская печка с вылинявшими занавесками. Рядом с ней сидела беременная кошка и, покачиваясь, дремала. Дядя Саша обнялся с отцом, вставшим навстречу из-за стола. В руках у него были очки без дужек, на резинке, районная газета. Мы объяснили цель своего приезда.

– Это ж надо за каку вы даль ехали, – усмехнулся дед. – Да, Москва. Я был там один раз. Где-то году, кажется, в 63-м. Точно, в 63-м.

Деду Василию Васильевичу 81 год. И все эти годы он прожил в деревне, почти никуда не выезжая. Косил, пахал, тайком от государства гнал самогон и валял вручную валенки.

– Прежде гусей этих еще мой батя держал. Потом мы, дураки, с братом стали. Дрались и гусями, и так, ой, щас вспомнить. Теперь вот Сашка держит. Но спроси меня и его: зачем? Никто толком не скажет.

С помощью соцработника Натальи дед напялил камуфляжный бушлат, все пошли выбирать место.

– Надо в баню дров подкинуть, – велел дед Наталье.

– Я только что ходила.

Место нашлось между соседским ГАЗ-53 и широкой уличной тропой. Соцработник Наталья – девушка без возраста с одутловатым, словно водой наполненным, лицом – выгнала дедовых гусей из сарая. Они были этим фактом весьма недовольны. Выгнув шею, шипели на нее. Дядя Саша выпустил из мешка своих. Но драка не состоялась. Гуси с минуту посмотрели друг на друга, и пошли в разные стороны. Как только ни гоняли их – те ни в какую. Забивались под машину, и соцработник Наталья гнала их оттуда ивовым прутом, убегали в проулок, и она, засыпая в валенки снег, лезла и лезла.

– Не будут драться, – с зажатой беломориной в уголке рта, сказал дед. – Они же братья.

– К Генке надо идти, – серьезно подытожил дядя Саша. – К шурину.

Дядя Саша нес гусака. Николай подхватил под мышку гусыню, но она все время вырывалась. Он неумело поддерживал ее коленом, перехватывал, гладил по уворачивающейся голове:

– Ну, чё ты, чё ты. Успокойся.

Генка – усатый, азиатскими заспанными чертами лица похожий на постаревшего писателя Куприна – выслушал дяди Сашины доводы степенно.

– Ну что ж, – сказал невозмутимо. – Давай биться.

Пока он выводил своих из сарая на запорошенный соломой двор, я спросил дядю Сашу.

– А ставки на бои делают?

– Бывает, – сказал он, вынимая запутавшуюся ногу из своего кармана. – Ну, несколько человек договариваются. Обычно дерутся так просто: мой тваво сильнее. Да иди ты.

Гусаков развели в стороны. Дед дал команду. И они сцепились. Сначала, как говорит дядя Саша, щупали друг друга. Затем стали молотить.

– Джон, давай, – крикнул Николай. Он ходил вокруг них, поднимая руку, будто ждал паса.

– Так его, так, – сначала со смехом произносила жена Гены Татьяна.

Через пятнадцать минут уже все потрясали в воздухе кулаками, будто выкрикивали лозунги на митинге.

На крик и возгласы прибежали мальчишки, уселись на дощатые ворота. И только пес Цыган не был допущен к зрелищу. Он царапал калитку, вставал на задние лапы и оказывался едва ли не выше мальчишек.

– Иди отсюда! – кинул поленом Геннадий в дверь. – Убью! На Покров только кабана заколол, только порубил на куски. Пошел за тазом. Он тут как тут. Три килограмма грудинки сглотнул, не жуя. Я в него тазом запустил, жалко промазал.

– Джон давай, – кричал Николай, растопыривал руки, как вратарь.

Пух летел по двору, словно с неба пошел теплый весенний снег. Гусаки взлетали, били сверху клювами, стараясь угодить в самое темя. Крылья их были уже окровавлены.

А гусыни метались от них к людям, кричали, кричали. Заглядывали в глаза снизу, нам, затеявшим все это, просили, умоляли, кланчили.

Первым не выдержал дед, он хлопнул шапкой об землю, сказал:

– Брейк, вашу мать.

Геннадий и дядя Саша подчинились. Подхватили своих гусей, но и на весу, болтая в воздухе красными лапами, они норовили клюнуть друг друга, нанести последний, решающий удар.

– Николай, – сказала Татьяна. – Я вот тут тебе записку написала. Сбегай к бабе Маше. Она недавно согнала, я видала – дым шел.

Захватив сало, банку огурцов и широкую миску соленых груздей, Татьяна и Геннадий отправились с нами к деду в дом.

Накрыли на стол, через время явился и Николай, держа под мышкой, как гусыню, трехлитровую банку мутного самогона. Но с самогоном ему было сподручней. Он не вырывался.

Изба тут же наполнилась голосами, перебивающими друг друга, звоном стаканов, праздником из ничего.

Соцработник Наталья мёртвой хваткой обнимала за шею, будто душила, скотника Серёгу, который без слов пытался освободиться от её напористой нежности, краснел, ему было неловко так.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.